

Глава 2. Средства выверенной муштры

В самом начале XVII века Валхаузен говорил о «собственно дисциплине» как искусстве «выверенной муштры»[335]. Действительно, основная функция дисциплинарной власти – не изъятие и взимание, а «муштра»; точнее говоря, муштра, нацеленная на то, чтобы изымать и взимать больше. Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать. Вместо того чтобы насильственно превращать все подчиненное ей в однородную массу, она разделяет, анализирует, различает и доводит процессы подразделения до необходимых и достаточных единиц. Она «муштрует» подвижные, расплывчатые, бесполезные массы тел и сил, превращая их в множественность индивидуальных элементов – отдельных клеточек, органических автономий, генетических тождеств и непрерывностей, комбинационных сегментов. Дисциплина «фабрикует» личности, она – специфическая техника власти, которая рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее отправления. Не торжествующей власти, которая из-за собственной чрезмерности может гордиться своим всемогуществом, – а тихой, подозрительной власти, действующей как рассчитанная, но постоянная экономия. Скромные модальности, стелющиеся методы, если сравнить их с величественными ритуалами власти суверена или с грандиозными государственными аппаратами. И именно они постепенно вторгнутся в главные формы, изменят их механизмы, навяжут им свои методы. Судебный аппарат не избежит этого почти неприкрытого вторжения. Успех дисциплинарной власти объясняется, несомненно, использованием простых инструментов: иерархического надзора, нормализующей санкции и их соединения в специфической процедуре – в экзамене.

Иерархический надзор

Отправление дисциплины предполагает устройство, которое принуждает игрой взгляда: аппарат, где технологии, позволяющие видеть, вызывают проявления и последствия власти и где средства принуждения делают видимыми тех, на кого они воздействуют. В классический век медленно создаются «обсерватории» человеческих множеств, не заслужившие добрых слов в истории наук. Наряду с великой технологией телескопа, линзы, пучка света, составлявшей одно целое с основаниями новой физики и космологии, существовали малые техники многочисленных и перекрещивающихся надзоров, взглядов, которые должны видеть, оставаясь невидимыми. Используя техники подчинения и методы эксплуатации, безвестное искусство света и видимого исподволь готовило новое знание о человеке.

Упомянутые «обсерватории» основываются на почти идеальной модели военного лагеря. Он представляет собой недолговечный искусственный город, который по желанию можно строить и перестраивать почти до бесконечности; он – высшая сфера власти, которая, поскольку она воздействует на вооруженных людей, должна обладать большей силой, но и большей сдержанностью, большей эффективностью и превентивной ценностью. В совершенном лагере вся власть осуществляется исключительно путем точного надзора. Каждый взгляд – сколок с глобального действия власти. Старый традиционный квадратный план значительно усовершенствовался, появилось много новых схем. Точно определяются геометрия проходов, число и расположение палаток, ориентация входов в них, расположение поперечных и продольных рядов. Вычерчивается сеть взглядов, контролирующих друг друга. «На плацдарме проводится пять линий, причем первая располагается в 16 футах от второй, а остальные – в 8 футах друг от друга. Последняя проходит в 8 футах от оградительных валов. Оградительные валы располагаются в 10 футах от палаток младших офицеров, точно против первого кола. Ширина палаточной улицы – 51 фут... Все палатки отделены друг от друга расстоянием в два фута. Палатки младших офицеров располагаются против улиц их рот. Задний кол вбивается в 8 футах от последней солдатской палатки. Входы смотрят на капитанскую палатку... Палатки капитанов располагаются против улиц их рот. Их двери выходят на роты»[336]. Лагерь – диаграмма власти, действующей путем организации общей и полной видимости. Долгое время модель лагеря (или по крайней мере ее основополагающий принцип – пространственная стыковка иерархизированных надзоров) использовалась в построении городов, при строительстве рабочих поселений, больниц, приютов, домов ума лишенных, тюрем и воспитательных домов. Использовался принцип «пазового соединения». Для весьма постыдного искусства надзоров лагерь то же, что камера-обскура для большой науки: оптики.

Тут развивается целая проблематика: проблематика архитектуры, которая создается отныне не просто для того, чтобы предстать взору (пышность дворцов), не для обеспечения обзора внешнего пространства (геометрия крепостей), а ради осуществления внутреннего упорядоченного и детального контроля, ради того, чтобы сделать видимыми находящихся внутри. Словом, архитектура теперь призвана быть инструментом преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в ней находится, управлять их поведением, доводить до них проявления власти, делать их доступными для познания, изменять их. Камни могут делать людей послушными и знающими. Старая простая схема заключения и ограждения (толстые стены, тяжелые ворота, затрудняющие вход и выход) заменяется расчетом числа окон и дверей, глухих и пустых пространств, проходов и просматриваемых мест. Здание больницы постепенно строится как инструмент медицинского воздействия: больничное здание должно обеспечивать хорошее наблюдение за больными, а следовательно – выбор лучшего способа лечения. Форма корпусов, обеспечивающая тщательное распределение больных, должна препятствовать распространению заразных болезней. Наконец, вентиляция и воздух, циркулирующий над каждой койкой, должны препятствовать скоплению вокруг пациента тлетворных паров разложения, предотвращая угнетенное состояние духа и, следовательно, усиление болезни. Больница – какой ее видят во второй половине века, о чем свидетельствуют многочисленные проекты, предложенные после того, как во второй раз сгорела центральная парижская больница[337], – не просто крыша, дающая прибежище невзгодам и неминуемой смерти; она действует терапевтически самой своей материальностью.

Подобно этому, здание школы должно быть механизмом муштры. Пари-Дюверне задумал Военную школу как настоящую педагогическую машину и в мельчайших деталях навязал свой проект архитектору Габриелю[338]. Муштровать тела – императив здоровья; формировать компетентных офицеров – императив квалификации; создавать послушных военных – императив политики; предупреждать разврат и гомосексуализм – императив нравственности. Четыре причины установления глухих перегородок между индивидами, но и глазков для постоянного надзора. Само здание Военной школы должно было быть аппаратом надзора: спальни размещались вдоль коридора, подобно ряду маленьких келий. Через равные промежутки располагались комнаты офицеров, так, чтобы «каждый десяток учеников окружался офицерами справа и слева», Ученики запирались в спальнях на всю ночь, и Пари-Дюверне настоял на том, чтобы «перегородка каждой спальни была застеклена со стороны коридора, от уровня груди на один-два фута до потолка. Кроме того, что иметь такие окна просто приятно, они, смеем сказать, во многих отношениях полезны, не говоря уж о соображениях дисциплины, решающих для такого устройства»[339]. В столовых – «небольшая платформа для столов наставников, позволяющая им видеть все столы учеников их отделения во время еды». Двери уборных укорочены сверху и снизу (чтобы дежурный надзиратель мог видеть головы и ноги учеников), тогда как поперечные перегородки достаточно высоки (чтобы «находящиеся внутри не видели друг друга»[340]). Бесконечно детализированное стремление к надзору, выраженное в архитектуре с помощью бесчисленных мелких приспособлений. Их можно считать незначительными, только если забыть о роли такого устройства – второстепенной, но безупречно исполняемой – в нарастающей объективации и все более детальном дроблении надзора за индивидуальным поведением. Дисциплинарные институты выработали механизм контроля, действующий как некий микроскоп для наблюдения за поведением; сделанные ими четкие, аналитически выверенные подразделения образовали вокруг людей аппарат наблюдения, регистрации и муштры. Как подразделить взгляд в этих машинах наблюдения? Как установить между ними сеть коммуникаций? Как организовать, чтобы из их рассчитанной множественности получилась однородная, непрерывная власть?

Совершенный дисциплинарный аппарат должен обеспечить способность видеть постоянно все «одним взглядом». Центральная точка должна быть как источником всеосвещающего света, так и местом сходимости всего, что подлежит познанию: совершенным глазом, от которого ничто не ускользает, и центром, притягивающим к себе все взгляды. Именно это имел в виду Леду, когда строил Арки-Сенан[341]: все здания выстроены в круг и открываются во двор, в центре которого – высокое строение, допускающее использование его с различными целями (управленческими, полицейскими целями надзора, экономическими – контроля и проверки, религиозными – наставления на повиновение и труд); отсюда исходят все приказы, здесь фиксируются все деятельности, рассматриваются и судятся все проступки; и это делается непосредственно, с опорой исключительно на точную геометрию. Одна из причин, по которым кругообразные архитектурные сооружения[342] во второй половине XVIII века считались столь престижными, состоит, несомненно, в том, что они выражают определенную политическую утопию.

Однако во второй половине XVIII века дисциплинарный взгляд нуждается в механизмах передачи. Пирамида – более действенно, нежели круг – отвечает двум требованиям: она достаточно полна и образует непрерывную сеть (отсюда возможность умножения ее

ступеней и распределения их по всей контролируемой поверхности); и достаточно незаметна, чтобы не давить мертвым грузом на дисциплинируемую деятельность, не быть для нее тормозом или препятствием, а органично вписываться в дисциплинарное устройство как функция, усиливающая его возможные результаты. Ее необходимо разбить на более мелкие элементы, но лишь для того чтобы усилить ее производительную функцию: детализировать надзор и сделать его функциональным.

Эту проблему решали крупные цехи и заводы, где был организован надзор нового типа. Он отличается от надзора, практиковавшегося прежде на мануфактурах, где его производили извне инспектора, следящие за выполнением правил. Теперь же требуется интенсивный, непрерывный контроль, который проникает непосредственно в рабочий процесс и распространяется не только на производство (здесь это контроль за качеством и количеством сырья, типом используемых инструментов, размерами и качеством изделий): он учитывает также деятельность людей, их навыки, манеру работать, проворность, усердие и поведение. Но он отличается и от домашнего надзора мастера, стоящего за спиной своих рабочих и подмастерьев: ведь он осуществляется служащими, контролерами и старшими мастерами. Когда производственный аппарат становится крупнее и сложнее, когда возрастает число рабочих и разделение труда, надзор становится еще более необходимым и трудным. Он становится особой функцией, которая тем не менее должна составлять неотъемлемую часть производственного процесса, сопровождать его на всем его протяжении. Возникает потребность в специальном персонале, постоянно присутствующем и не принадлежащем к среде рабочих: «На крупной мануфактуре все делается по часам, рабочих принуждают и ругают. Служащие, привыкшие относиться к рабочим свысока и командовать, что действительно необходимо по отношению к массе, обращаются с ними строго или презрительно, и поэтому рабочие либо получают более высокую зарплату, либо покидают мануфактуру вскоре после поступления»[343]. Но, хотя рабочие предпочитают контроль цехового типа новому режиму надзора, хозяева понимают, что новый надзор неотделим от системы промышленного производства, частной собственности и прибылей. На крупном металлургическом заводе или шахте «статей расхода так много, что малейшая нечестность может привести к ужасному мошенничеству, которое не только поглотит прибыли, но и приведет к потере капитала... Любая некомпетентность, если она остается незамеченной, а потому повторяется каждый день, может оказаться настолько пагубной для предприятия, что очень быстро его разрушит». А потому только служащие, подчиняющиеся непосредственно хозяину и занятые исключительно надзором, следят за тем, «чтобы не было ни гроша лишних расходов и ни минута не прошла впустую»; их роль – «следить за рабочими, контролировать все рабочие места, сообщать хозяевам обо всем, что происходит»[344]. Таким образом, надзор становится решающим экономическим фактором – как внутренняя деталь производственного аппарата и как специфический механизм дисциплинарной власти[345].

Та же тенденция обнаруживается и в реорганизации начального образования: элементы надзора были конкретизированы и надзор стал неотъемлемой частью учебных отношений. Развитие приходских школ, рост числа их учеников, отсутствие методов, регулирующих работу сразу всего класса, вытекающие из этого беспорядок и сумятица сделали необходимым введение системы надзора. В помощь учителю Батенкур выбрал из лучших учеников ряд «офицеров» – интендантов, наблюдателей, помощников учителя, репетиторов,

чтецов молитв, ответственных за письмо и раздачу чернил, духовников и посетителей семей. Эти роли, таким образом, разделяются на два типа: одни относятся к материальным задачам (раздача чернил и бумаги, подавание бедным, чтение духовных текстов по праздникам и т. п.), другие предполагают надзор. «Наблюдатели» должны фиксировать, кто покинул скамью, кто разговаривал, кто пришел без четок или часослова, кто плохо вел себя во время молитвы, сделал что-то непристойное, болтал или вопил на улице. «Увещеватели» должны «следить за теми, кто разговаривает или шепчется во время уроков, не пишет или ротозейничает». «Посетители» ходят по семьям учеников, которые отсутствовали на занятиях или совершили серьезные проступки. «Интенданты» контролируют всех других «офицеров». Одни только «репетиторы» играют педагогическую роль: заставляют учеников читать попарно вполголоса[346]. Несколько десятилетий спустя Демиа избирает иерархию того же типа, но почти все функции надзора играют у него и педагогическую роль: один помощник учителя учит правильно держать перо, водит рукой ученика, исправляет ошибки и одновременно «записывает проступки шалунов»; другой помощник учителя выполняет те же функции на уроке чтения. Интендант, контролирующий других офицеров и отвечающий за поведение в целом, занимается также «посвящением новичков в школьные обычаи». Декурионы заставляют детей учить уроки и «записывают» невыучивших[347]. Здесь перед нами набросок школы «взаимного обучения», в которой соединяются в одном механизме три процедуры: собственно обучение, приобретение знаний непосредственно в практической педагогической деятельности и, наконец, взаимное иерархизированное наблюдение. Отношение надзора, определенное и регулируемое, вписывается в сердцевину практики обучения, и не как дополнительная или вспомогательная часть, но как механизм, который ей внутренне присущ и повышает ее эффективность.

Возможно, иерархизированный, непрерывный и функциональный надзор не принадлежит к великим техническим «изобретениям» XVIII века, но его коварное распространение обязано своей значимостью несомым им механизмам власти. Благодаря такому надзору дисциплинарная власть становится «цельной» системой, внутренне связанной с экономией и целями механизма, через который она отправляется. Она организуется также как множественная, автоматическая и анонимная власть; ведь хотя надзор основывается на индивидах, он действует по сети отношений сверху вниз, но также, до некоторой степени, и снизу вверх и горизонтально; эта сеть «удерживает» целое и насквозь пронизывает его происходящими одно от другого проявлениями власти: надзиратели, находящиеся под постоянным надзором. Власть в иерархизированном надзоре дисциплин – не вещь, которой можно обладать, она не передается как свойство; она действует как механизм. И хотя пирамидальная организация действительно предполагает наличие «главы», именно механизм в целом производит «власть» и распределяет индивидов в постоянном и непрерывном поле. Это позволяет дисциплинарной власти быть одновременно чрезвычайно нескромной, поскольку она повсюду и всегда на чеку, поскольку в силу самого своего принципа она не оставляет ни малейшей теневой зоны и постоянно надзирает за теми самыми индивидами, на которых возложена функция надзора, – и крайне «скромной», поскольку она действует постоянно и главным образом безмолвно. Дисциплина делает возможным функционирование власти через отношения, власти, которая поддерживает себя собственными механизмами и заменяет зрелищные публичные ритуалы непрерывной игрой рассчитанных взглядов. Благодаря методам надзора «физика» власти – господство

над телом – осуществляется по законам оптики и механики, по правилам игры пространств, линий, экранов, пучков, степеней и не прибегает, по крайней мере в принципе, к чрезмерности, силе или насилию. Это власть, которая кажется тем менее «телесной», чем более искусно она организована как «физическая».

Нормализующее наказание

1

В сиротском приюте шевалье Поле заседания суда, собиравшегося каждое утро, превращались в настоящий церемониал: «Мы увидели, что все ученики построены, словно перед сражением: безупречный строй, полная неподвижность и молчание. Майор, юный шестнадцатилетний дворянин, стоит перед строем со шпагой в руке. По его команде войско размыкает ряды и образует круг. В центре собирается совет. Каждый офицер докладывает о поведении своей роты за прошедшие сутки. Обвиняемым предоставляется возможность оправдаться. Заслушивают свидетелей. Суд совещается, и когда согласие достигнуто, майор возглашает число виновных, сообщает о характере проступков и вынесенных наказаниях. Затем войско удаляется маршем в строжайшем порядке»[348]. В ядре всех дисциплинарных систем действует маленький карательный механизм. Он обладает своего рода привилегией правосудия с собственными законами, классификацией проступков, конкретными формами наказания и судебными инстанциями. Дисциплины устанавливают «инфра-наказание»; они систематизируют пространство, не заполненное законами, квалифицируют и карают массу проступков, которые в силу их относительно малой значимости не учитываются большими системами наказания. «Приходя на работу, рабочие должны приветствовать друг друга... Уходя, они должны убрать материалы и инструменты, коими пользовались, а если работали допоздна, то потушить лампы»; «строго воспрещается развлекать товарищей жестами или как-то иначе»; надлежит «вести себя благочестиво и скромно»; всякий, кто отсутствовал больше пяти минут, не предупредив господина Оппенгейма, будет отмечен «как отсутствовавший полдня»; а чтобы удостовериться в том, что ничто не забыто в этом подробном перечне, воспрещается делать «все, что может повредить господину Оппенгейму и его компаньонам»[349]. Цех, школа, армия подчинены целой системе микронаказаний, учитывающей: время (опоздания, отсутствие, перерывы в работе), деятельность (невнимательность, небрежность, отсутствие рвения), поведение (невежливость, непослушание), речь (болтовня, дерзость), тело («некорректная» поза, неподобающие жесты, неопрятность) и сексуальность (нескромность, непристойность). При этом в качестве наказания используется целый ряд детально продуманных процедур: от легкого физического наказания до небольших лишений и унижений. Требуется, с одной стороны, сделать наказуемым малейшее отклонение от корректного поведения, а с другой – придать карательную функцию на вид нейтральным элементам дисциплинарной машины: тогда в случае необходимости все будет служить наказанию малейшего нарушения, а каждый субъект окажется захваченным наказуемой и наказывающей всеобщностью. «Под словом “наказание” надо понимать все, что может заставить детей осознать совершённый ими проступок, все, что может унижить их и смутить... некоторая холодность, безразличие, дознание, оскорбление, отстранение от выполнения обязанностей»[350].

Но дисциплина приносит с собой специфическую манеру наказания, которая является не просто уменьшенной моделью суда. Что характерно, дисциплинарное наказание представляет собой нечто совершенно несопоставимое правилу, отклонение. Наказанию подвергается вся неопределенная область несоответствующего поведения: солдат совершает «проступок» всякий раз, когда не дотягивает до требуемого уровня; «проступок» ученика есть не только мелкое нарушение, но и неспособность выполнить задание. Устав прусской пехоты требовал, чтобы солдат, не научившийся правильно обращаться с ружьем, был наказан «со всей строгостью». Сходным образом, «если ученик не выучил катехизис, заданный накануне, надо добиться, чтобы он безошибочно запомнил его и повторил на следующий день; или же заставить его слушать, стоя на коленях и скрестив руки; или принудить его к раскаянию как-то иначе».

Порядок, который должны поддерживать дисциплинарные наказания, носит смешанный характер. Это «искусственный» порядок, четко установленный в законе, программе или уставе. Но также порядок, определяемый естественными и наблюдаемыми процессами: продолжительность ученичества, время, необходимое для выполнения упражнения, уровень подготовки определяются закономерностью, которая тоже является правилом. В христианских школах с детьми никогда не проводят «уроков», которых они не способны выдержать, поскольку иначе они ни чему не научатся; и все же длительность каждой стадии обучения определяется правилом, и ученика, не сумевшего по результатам трех экзаменов перейти на следующий уровень, на глазах у всех помещают на скамью «невежд». В дисциплинарном режиме наказание имеет двойную область значения – юридическую и естественную.

Дисциплинарное наказание должно бороться с отступлениями. Следовательно, оно должно быть по существу исправительным. Наряду с наказаниями, заимствованными непосредственно из судебной модели (штрафы, плеть, карцер), дисциплинарные системы отдают предпочтение наказанию-упражнению – более интенсивному научению, многократно повторяемому уроку. Согласно уставу пехоты 1766 г., младшие капралы, «выказавшие отсутствие прилежания или нежелание учиться, должны быть разжалованы в рядовые» и могут вернуть себе прежний ранг только после новых упражнений и нового экзамена. По словам Ж. Б. де Ла Салля, «из всех наказаний самыми честными с точки зрения учителя, наиболее выигрышными для родителей являются дополнительные задания»; они позволяют «черпать в самих ошибках детей средства, позволяющие добиться успехов путем исправления их недостатков»; тем, например, «кто не написал всего, что требовалось, или не потрудился сделать это хорошо, можно дать какое-то дополнительное задание: что-то написать или заучить наизусть»[351]. Дисциплинарное наказание, в основном, сходно по форме с обязанностью, это не столько месть за погрязший закон, сколько возобновление, двойное утверждение закона. Так что ожидаемое от наказания исправительное воздействие вызывает покаяние и раскаяние лишь случайно; оно достигается непосредственно механикой муштры. Наказывать – значит принуждать к упражнению.

В дисциплине наказание является лишь одним из элементов двойной системы поощрения – наказания. И именно эта система действует в процессе муштры и исправления. Учитель «должен по возможности не применять наказание, напротив, чаще поощрять, чем наказывать. Ведь лентяя, как и прилежного, больше вдохновляет желание снискать похвалу, чем страх перед наказанием. Потому было бы весьма полезно, если бы учитель, прежде чем прибегнуть к вынужденному наказанию, уже завоевал сердце ребенка»[352]. Этот механизм из двух элементов делает возможными ряд операций, характерных для дисциплинарного наказания. Во-первых, оценку поведения и достижений на основании двух противоположных ценностей: добра и зла. Вместо простого выделения области запретного, которое практикуется в уголовном правосудии, мы имеем здесь распределение между положительным и отрицательным полюсами; все поведение попадает в поле, простирающееся между хорошими и плохими отметками и баллами. Кроме того, можно исчислить это поле и выработать соответствующую цифровую экономию. Непрерывно обновляемая карательная бухгалтерия позволяет составить баланс наказаний для каждого ученика. В школьном «правосудии» эта система, существовавшая в рудиментарной форме в армии и мастерских, получила весьма значительное развитие. Братья в христианских школах организовали настоящую микроэкономию привилегий и дополнительных заданий: «Поощрения могут использоваться учениками, для того чтобы избавиться от наказаний... Например, ученик получил дополнительное задание – переписать четыре или шесть вопросов по катехизису; он может быть прощен, если у него есть несколько поощрительных баллов; учитель должен установить, сколько баллов стоит каждый вопрос... Поскольку поощрение состоит из определенного числа баллов, учитель располагает поощрением меньшей стоимости, служащим своего рода сдачей. Например, ученик получает дополнительное задание, от которого его освобождают шесть баллов, и он заслужил поощрение в десять баллов. Предъявив его учителю, он получает обратно четыре балла и т. д.»[353] И путем игры в подсчет, посредством циркуляции авансов и долгов, а также постоянного прибавления и вычитания баллов дисциплинарные аппараты устанавливают сравнительную иерархию «хороших» и «дурных» субъектов. Путем этой микроэкономики постоянного наказания происходит дифференциация – не действий, но самих индивидов, их характера, возможностей, уровня развития или достоинства. Точно оценивая поступки, дисциплина определяет «истинную цену» индивидов; применяемое ею наказание вписывается в цикл познания индивидов.

Распределение по рангам или ступеням играет двойную роль: оно определяет отклонения от правила, устанавливает иерархию качеств, знаний и навыков; но оно также наказывает и вознаграждает. Карательная сторона приведения в порядок и упорядочивающая сторона наказания. Дисциплина вознаграждает простой игрой присуждений, делая возможным достижение более высоких рангов и должностей; она наказывает, понижая в чине и разжалуя. Ранг сам по себе служит наградой или наказанием. В Военной школе была разработана сложная система «почетной» классификации. Классификация доводилась до общего сведения через незначительные различия в униформе, и более или менее благородные или постыдные наказания соответствовали, как знак поощрения или позора,

таким образом распределяемым рангам. Классификационное карательное распределение осуществлялось через короткие промежутки времени по докладам офицеров, преподавателей и их помощников без учета возраста или чина, на основании «моральных качеств учеников» и «их всем известного поведения». Первый класс – «очень хорошие ученики» – отмечался серебряным эполетом; они удостоивались чести считаться «исключительно воинскими частями», а потому имели право на военные наказания (гауптвахта, а в серьезных случаях – тюрьма). Второй класс – «хорошие» – носил шелковый пунцово-серебряный эполет; они могли быть наказаны гауптвахтой и тюрьмой, а также карцером и стоянием на коленях. Класс «посредственных» имел право на красный суконный эполет; к перечисленным наказаниям здесь добавлялась, если было необходимо, грубая холщовая роба. Последний класс, «плохие», отмечался коричневым суконным эполетом; «ученики этого класса подвергаются всем наказаниям, принятым в Школе, а также всем тем, кои представляются целесообразными, включая даже одиночное заключение в темном карцере». Одно время существовал также «позорный» класс, для которого были составлены особые правила: «принадлежащие к этому классу должны быть всегда отделены от других и облачены во власяницу». Поскольку место ученика определяется только заслугами и поведением, «ученики двух последних классов могут тешить себя надеждой перейти в первые и носить соответствующие знаки отличия, если все признают их достойными благодаря улучшению их поведения и успехам; а ученики первых классов переходят в низшие, если начинают лениться и если наберется много откликов не в их пользу, показывающих, что они больше не заслуживают отличий и преимуществ первых классов...». Карательная классификация имеет тенденцию к исчезновению. «Позорный» класс существует лишь для того, чтобы исчезнуть: «для того чтобы судить о степени перевоспитания учеников “позорного” класса, которые стали вести себя хорошо», надо перевести их в другие классы и вернуть им знаки отличия; но при этом они должны находиться вместе с товарищами по «позорному» классу во время еды и на переменах. Если они поведут себя плохо, то останутся в «позорном» классе, и «покинут его окончательно, если их поведение сочтут удовлетворительным в новом классе и подразделении»[354]. Итак, иерархизирующее наказание имеет двойной результат: оно распределяет учеников в зависимости от их способностей и поведения, т. е. с учетом их возможного использования по окончании школы, и оказывает на них постоянное давление, чтобы привести их к одной и той же модели, принудить их всех к «субординации, послушанию, внимательному отношению к учебе и упражнениям, к неукоснительному выполнению своих обязанностей и всех пунктов дисциплины». Чтобы они все были похожи друг на друга.

Короче говоря, искусство наказывать в режиме дисциплинарной власти не направлено ни на заглаживание вины, ни даже, в точном смысле, на репрессию. Оно приводит в действие пять совершенно различных операций. Оно соотносит действия, успехи и поведение индивида с целым, являющимся одновременно полем сравнения, пространством дифференциации и принципом правила, которому надлежит следовать. Оно отличает индивидов друг от друга и исходя из общего правила – правила, служащего неким минимальным порогом, неким средним, которому надо соответствовать, оптимумом, к которому надо стремиться. Оно количественно измеряет и выстраивает в иерархическом порядке, в зависимости от ценности, способности, уровень развития, «природу» индивидов. Оно устанавливает посредством этой «ценностной» мерки степень соответствия, которая должна быть достигнута. И наконец, оно намечает предел, который должен задавать различие

сравнительно со всеми прочими различиями: внешнюю границу ненормального («позорный» класс Военной школы). Вечное наказание, пронизывающее все точки и контролирующее каждое мгновение в дисциплинарных институтах, сравнивает, различает, иерархически упорядочивает, приводит к однородности, исключает. Одним словом, нормализует.

Следовательно, каждым своим пунктом оно противостоит судебному наказанию. Главная функция судебного наказания – указывать на свод законов и текстов, которые необходимо помнить, а не на совокупность наблюдаемых явлений; оно действует не посредством дифференциации индивидов, а путем спецификации поступков в соответствии с рядом общих категорий; не посредством установления иерархии, а куда проще – путем применения бинарного противопоставления дозволенного и запрещенного; не приводя к однородности, а вынося приговор и тем самым устанавливая непреложный раздел. Дисциплинарные механизмы выделили «наказание согласно норме», не сводимое в своих принципах и функционировании к традиционному наказанию согласно закону. Маленький суд, постоянно заседающий в зданиях дисциплины и принимающий иногда театральную форму большого судебного аппарата, не должен обмануть нас: он не переносит (за исключением немногих формальных пережитков) механизмы уголовного правосудия в ткань повседневной жизни. Во всяком случае, не в этом состоит его главная роль. Дисциплины создали – опираясь на целый ряд очень древних методов – новое функционирование наказания, и именно оно постепенно захватило огромный внешний аппарат, который теперь воспроизводит его то сдержанно, то иронично. Юридическо-антропологическое функционирование, обнаруживающееся во всей истории современного наказания, коренится не в наложении гуманитарных наук на уголовное правосудие и не в требованиях, присущих этой новой рациональности или гуманизму, который она приносит; оно коренится в дисциплинарной технике, вводящей эти новые механизмы нормализующего наказания.

Через дисциплины проявляется власть Нормы. Является ли она новым законом современного общества? Лучше сказать, что начиная с XVIII века эта власть соединилась с прочими властями – Закона, Слова и Текста, Традиции, – навязывая им новые разграничения. Нормальное становится принципом принуждения в обучении с введением стандартизированного образования и возникновением «нормальных школ»[355]. Оно становится таковым в попытке организовать национальный медицинский цех и больничную систему, руководствующиеся общими нормами здоровья. Оно проникает в стандартизацию промышленных процессов и изделий[356]. Подобно надзору, и вместе с ним нормализация становится одним из главных инструментов власти в конце классического века. Ведь знаки, некогда свидетельствовавшие о статусе, привилегиях, принадлежности к чему-то, все больше заменяются – или по крайней мере дополняются – целым рядом степеней нормальности, свидетельствующих о принадлежности к однородному общественному телу, но также играющих некоторую роль в классификации, иерархизации и распределении рангов. В каком-то смысле власть нормализации насаждает однородность; но она индивидуализирует, поскольку позволяет измерять отклонения, определять уровни, фиксировать особенности и делать полезными различия, приспособляя их друг к другу. Вполне понятно, как власть нормы действует в рамках системы формального равенства, поскольку внутри однородности, являющейся правилом, норма вводит в качестве полезного императива и результата измерения весь диапазон индивидуальных различий.

Экзамен

Экзамен сочетает техники надзирающей иерархии и нормализующей санкции. Экзамен – нормализующий взгляд, надзор, позволяющий квалифицировать, классифицировать и наказывать. Он делает индивидов видимыми, благодаря чему их можно дифференцировать и наказывать. Поэтому во всех дисциплинарных механизмах экзамен – совершенный ритуал. В нем соединяются церемония власти и форма опыта, применение силы и установление истины. В центре дисциплинарных процедур экзамен демонстрирует подчинение тех, кто воспринимается как объекты, и объективацию тех, кто подчиняется. Взаимоналожение отношений власти и отношений знания обретает в экзамене весь свой видимый блеск. Однако экзамен – еще одна инновация классического века, не исследованная историками наук. Пишут историю опытов со слепорожденными, с детьми, выросшими среди волков, с находящимися под воздействием гипноза. Но кто напишет более общую, более размытую, но и более определенную историю «экзамена» – его ритуалов, методов, действующих лиц и их ролей, игры вопросов и ответов, систем выставления отметок и классификации? Ведь в этой тонкой технике можно увидеть всю область познания, весь тип власти. Часто говорят об идеологии, которую – то сдержанно, то громогласно – несут в себе гуманитарные «науки». Но разве сама их технология, эта крошечная рабочая схема, получившая столь широкое распространение (от психиатрии до педагогики, от диагностики болезней до найма рабочей силы), этот знакомый метод экзамена не претворяет в едином механизме отношения власти, которые делают возможными извлечение и образование знания? Это происходит не просто на уровне сознания, представлений и того, что человек (как он полагает) знает, но и на уровне того, что делает возможным знание, которое преобразуется в политический захват.

Одним из основных условий эпистемологического «раскрытия» медицины в конце XVIII века была организация больницы как «экзаменующего» аппарата. Ритуал обхода являлся самой очевидной его формой. В XVII веке приходящий врач добавлял свой осмотр ко многим другим формам контроля – религиозной, административной и т. д.; он практически не участвовал в повседневном управлении больницей. Постепенно осмотр становится более регулярным, более тщательным, а главное – более продолжительным: он становится все более важной частью работы больницы. В 1661 г. врач центральной парижской больницы должен был делать один обход в день; в 1687 г. «кандидат» на место врача проверял во второй половине дня состояние некоторых тяжелобольных. Правила XVIII столетия устанавливали расписание обходов и их продолжительность (минимум два часа) и предписывали сменную работу врачей, которая обеспечивала бы проведение обходов ежедневно, «даже в Пасхальное воскресенье». Наконец, в 1771 г. учреждается должность дежурного врача, в чьи обязанности входит «оказание необходимой помощи не только днем, но и ночью, в промежутках между обходами приходящего врача»[357]. Прежние нерегулярные и быстрые осмотры превращаются в ежедневное обследование, помещающее пациента в ситуацию почти непрерывного экзамена. Отсюда два последствия: во внутренней иерархии врач, бывший ранее внешним элементом, начинает брать верх над религиозным персоналом и отводить ему четко определенную, но подчиненную роль в технике экзамена; затем появляется категория «медицинские сестры»; между тем сама больница, бывшая некогда едва ли не богадельней, становится местом формирования и

коррекции знания: она демонстрирует полное изменение отношений власти и формирования знания. Хорошо «дисциплинированная» больница становится «домом» медицинской «дисциплины»; последняя отказывается теперь от своего текстового характера и опирается не столько на традицию авторитетных текстов, сколько на область объектов, вечно предлагаемых для экзамена.

Школа тоже становится своеобразным аппаратом непрерывного экзамена, который дублирует процесс обучения на всем его протяжении. Он постепенно перестает быть состязанием, позволяющим ученикам померяться силами, все больше превращаясь в постоянное сравнение всех и вся, позволяющее и измерять, и оценивать. Братья в христианских школах хотели, чтобы их ученики сдавали экзамены каждый день: в понедельник – по орфографии, во вторник – по арифметике, в среду – по закону Божию утром и по письму вечером и т. д. Кроме того, ежемесячная контрольная работа позволяла отобрать тех, кто готов держать экзамен перед инспектором[358]. С 1775 г. в парижской Высшей Инженерно-дорожной школе было 16 экзаменов в год: 3 – по математике, 3 – по архитектуре, 3 – по черчению, 2 – по письму, 1 – по обтесыванию камней, 1 – по стилю, 1 – по съемке местности, 1 – по пользованию уровнем и 1 – по замеру пропорций зданий[359]. Экзамен не просто знаменовал конец обучения, но был одним из его постоянных факторов; он был вплетен в обучение посредством постоянно повторяемого ритуала власти. Экзамен позволял учителю, передавая знания, превращать учеников в целую область познания. В то время как испытание, которым завершалось ученичество в цеховой традиции, подтверждало полученный навык – итоговая «работа» удостоверяла состоявшуюся передачу знания, – экзамен в школе был постоянным обменом знаниями: он гарантировал переход знаний от учителя к ученику, но и извлекал из ученика знание, предназначенное и приготовленное для учителя. Школа становится местом педагогических исследований. И точно так же, как процедура больничного «экзамена» сделала возможным эпистемологическое «раскрытие» медицины, век «экзаменующей» школы знаменовал возникновение педагогики как науки. Век инспекций и бесконечно повторяемых маневров в армии также знаменовал развитие богатейшего тактического знания, нашедшего применение в эпоху наполеоновских войн.

Экзамен вводит целый механизм, связывающий определенный тип формирования знания с определенной формой отправления власти.

1

Экзамен преобразует экономию видимости в отправление власти. Традиционно власть есть то, что видимо, что показывается, проявляется; и, что парадоксально, она черпает свою силу в том самом движении, посредством которого проявляет эту силу. Те, на кого она воздействует, могут оставаться в тени: они получают свет лишь от той части власти, что им выделяется, или от скользнувшего по ним отблеска власти. Дисциплинарная власть, с другой стороны, отправляется в силу ее невидимости; в то же время она навязывает тем, кого подчиняет, принцип принудительной видимости. В дисциплине именно субъекты должны быть видимыми. Их видимость удостоверяет накинутаю на них узду власти. Именно факт постоянной видимости, возможности быть увиденным удерживает дисциплинированного индивида в подчинении. А экзамен есть метод, с помощью которого

власть, вместо того чтобы производить знаки своей мощи, вместо того чтобы помечать подданных своим клеймом, втягивает их в механизм объективации. В этом пространстве господства дисциплинарная власть по существу проявляет свою мощь, главным образом посредством упорядочения объектов. Экзамен – своеобразная церемония объективации.

Прежде роль политической церемонии заключалась в том, чтобы обеспечить избыточное и все же подчиненное правилам проявление власти. Она была зрелищным выражением мощи, некой «тратой», преувеличенной и кодифицированной, в которой власть пополняла свою силу. В той или иной мере она всегда была связана с триумфом. Торжественное явление монарха несло в себе нечто от освящения, коронации, победного возвращения; даже пышные похоронные церемонии проходили со всем блеском отправляемой власти. Дисциплина, однако, вырабатывает собственные церемонии. Это уже не триумф, а смотр, «парад», демонстрационная форма экзамена. В ней «подданные» представлены как «объекты» наблюдения для власти, проявляющейся единственно в своем взгляде. Они не воспринимают непосредственно образ власти суверена: они только ощущают ее последствия – так сказать, копию – на своих телах, которые стали совершенно прозрачными и послушными. 15 марта 1666 г. Людовик XIV провел свой первый военный парад: 18 000 солдат и офицеров, «одна из наиболее зрелищных акций его царствования», которая должна была «повергнуть в смятение всю Европу». Несколько лет спустя была отчеканена памятная медаль[360]. На ней начертано: «Disciplina militaris restitua»[361] – и легенда: «Prolusio ad victorias»[362]. Справа – король с жезлом, выставив вперед правую ногу, командует парадом. Слева – несколько теряющихся вдаль шеренг солдат, изображенных с лица. Они подняли правые руки до уровня плеча и держат ружья точно по вертикали; каждый слегка выставил вперед правую ногу, левая ступня повернута наружу. На земле пересекающиеся линии образуют под ногами солдат большие квадраты, служащие ориентирами для различных фаз и позиций смотра. На заднем плане виден дворец в классическом стиле. Колонны дворца продолжают колонны, образованные солдатами с поднятыми ружьями, точно так же плиточный пол продолжает линии на земле. А над балюстрадой, увенчивающей здание, – статуи, представляющие танцующие фигуры: волнистые линии, округлые жесты, хитоны. Мрамор повторяет движения, воплощающие принцип гармонического единства. Солдаты с другой стороны замерли в единообразно повторяемом строе шеренг и линий: тактическое единство. Архитектурный порядок, раскрывающийся наверху в фигурах танца, навязывает свои правила и геометрию дисциплинированным людям на земле. Колонны власти. «Превосходно, – заметил однажды о полке великий князь Михаил после часового парада. – Вот только они дышат»[363].

Будем рассматривать эту медаль как свидетельство о моменте, когда парадоксальным, но значимым образом ярчайшее проявление верховной власти государя совпадает с возникновением ритуалов, характерных для дисциплинарной власти. Почти невыносимая видимость монарха превращается в неизбежную видимость подданных. И именно это обращение видимости в практическое действие дисциплин должно обеспечивать отправление власти даже в ее самых глубинных проявлениях. Мы входим в век бесконечного экзамена и принудительной объективации.

Экзамен вводит индивидуальность в документальное поле. Экзамен оставляет после себя детальный архив, повествующий о телах и днях. Располагая индивидов в поле надзора, он охватывает их также сетью записей; он помещает их в толщу улавливающих и фиксирующих документов. Экзаменационные процедуры непременно сопровождалась системой интенсивной записи и накопления документов. «Власть записи» сформировалась как существенно важная деталь механизмов дисциплины. Во многом она повторяет традиционные методы административной документации, хотя и использует особые техники и важные нововведения. Некоторые из них касаются методов идентификации и описания. Проблема идентификации и описания встает в армии, где требуется разыскивать дезертиров, избегать повторного рекрутирования одних и тех же людей, корректировать фиктивные сводки, представленные офицерами, знать служебные обязанности и ценность каждого, устанавливать точный баланс без вести пропавших и убитых. Эта проблема решается в больницах, где требуется устанавливать личность больных, изгонять симулянтов, проследить эволюцию болезней, проверять эффективность лечения, вести учет аналогичных случаев и фиксировать начало эпидемий. Эта проблема встает в учебных заведениях, где определяют знания каждого индивида, его уровень и способности, применение, какое он может получить по окончании учебы: «Реестр, с которым можно справиться когда нужно и где нужно, позволяет узнать нравы детей, их успехи с точки зрения благочестия, в катехизисе, письме и чтении за время обучения в школе, их дух и мысли с момента поступления в школу»[364]. Отсюда – возникновение целого ряда кодов дисциплинарной индивидуальности, позволяющих записывать посредством приведения к однородной форме индивидуальные черты, выявленные в ходе экзамена: физический код примет, медицинский код симптомов, школьный или военный код поведения и успехов. Эти коды были еще очень несовершенны с точки зрения качества и количества, но они знаменовали первую стадию «формализации» индивидуального в рамках отношений власти.

Другие новшества дисциплинарной записи связаны с соотношением этих элементов, накоплением документов, распределением их по сериям, организацией полей сравнения, позволяющих классифицировать, устанавливать категории, выводить среднее арифметическое, фиксировать норму. Больницы XVIII столетия, в частности, были большими лабораториями, где применялись методы записи и документирования. Ведение журналов, их спецификация, способы переноса информации из одних журналов в другие, передача их во время обходов, сопоставление на регулярных совещаниях врачей и управляющих, сообщение содержащихся в них данных в центральные органы (в больницу или главное бюро богоугодных заведений), учет болезней, средств лечения и смертей на уровне больницы, города и даже государства в целом – все было подчинено дисциплинарному режиму. Среди важнейших условий хорошей медицинской «дисциплины» следует упомянуть методы записи, позволяющие интегрировать индивидуальные данные в суммирующие системы таким образом, чтобы они не затерялись; чтобы каждый индивид мог быть отражен в сводном журнале и, наоборот, чтобы все данные индивидуального экзамена могли влиять на суммирующие подсчеты.

Благодаря аппарату записи экзамен открывает две взаимосвязанные возможности: образование индивида как объекта описания и анализа, но осуществляемое не для того чтобы свести его к «видовым» чертам (как это делают натуралисты по отношению к живым существам), а для того чтобы утвердить его в его индивидуальных чертах, в его конкретной

эволюции, в его собственных способностях в рамках постоянного корпуса знания; и построение сравнительной системы, позволяющей измерять общие явления, описывать группы и коллективные факты, исчислять различия между индивидами, распределять их в данном «населении».

Эти маленькие техники записи, регистрации, организации полей сравнения, разнесения фактов по столбцам и таблицам, столь привычные нам сегодня, имели решающее значение в эпистемологическом «раскрытии» наук об индивиде. Безусловно, справедливо было бы поставить аристотелевский вопрос: возможна ли и законна ли наука об индивиде? Вероятно, великая проблема требует и великого решения. Но есть маленькая историческая проблема – проблема возникновения в конце XVIII века того, что, вообще говоря, можно было бы назвать «клиническими» науками; проблема введения индивида (уже не вида) в поле познания; проблема введения индивидуального описания, перекрестного опроса, анамнеза, «дела» в общий оборот научного дискурса. Несомненно, за этим простым фактическим вопросом должен последовать ответ, лишенный величия: надо присмотреться к процедурам записи и регистрации, к механизмам экзамена, формированию дисциплинарных механизмов и нового типа власти над телами. Является ли это рождением наук о человеке? Вероятно, его надо искать в этих малоизвестных архивах, где берет начало современная игра принуждения тел, жестов, поведения.

3

Экзамен со всеми его техниками документации превращает каждого индивида в конкретный «случай». Случай представляет собой одновременно и объект для отрасли знания, и объект для ветви власти. Отныне случай (в отличие от случая в казуистике или юриспруденции) не есть совокупность обстоятельств, определяющая действие и способная видоизменить применение правила; случай есть индивид, поскольку его можно описать, оценить, измерить, сравнить с другими в самой его индивидуальности; но также индивид, которого требуется муштровать или исправлять, классифицировать, приводить к норме, исключать и т. д.

Долгое время обычная индивидуальность – индивидуальность простого человека – оставалась ниже порога описания. Быть рассматриваемым, наблюдаемым, детально исследуемым и сопровождаемым изо дня в день непрерывной записью составляло привилегию. Создаваемые при жизни человека хроника, жизнеописание, историография составляли часть ритуалов его власти. Дисциплинарные методы полностью изменили это отношение, понизили порог, начиная с которого индивидуальность подлежит описанию, и превратили описание в средство контроля и метод господства. Описание теперь не памятник для будущего, а документ для возможного использования. И эта новая приложимость описания особенно заметна в строгой дисциплинарной среде: ребенок, больной, сумасшедший, осужденный все чаще (начиная с XVIII века) и по кривой, определяемой дисциплинарными механизмами, становятся объектами индивидуальных описаний и биографических повествований. Превращение реальных жизней в запись более не является процедурой создания героев; оно оказывается процедурой объективации и подчинения. Тщательно прослеживаемая жизнь умственно больных или преступников относится – как прежде летопись жизни королей или похождения знаменитых бандитов – к

определенной политической функции записи; но совсем в другой технике власти.

Экзамен как установление – одновременно ритуальное и «научное» – индивидуальных различий, как прищипливание каждого индивида в его собственной особенности (в противоположность церемонии, где статус, происхождение, привилегии и должность манифестируются со всей зрелищностью подобающих им знаков отличия) ясно свидетельствует о возникновении новой модальности власти, при которой каждый индивид получает в качестве своего статуса собственную индивидуальность и при которой благодаря своему статусу он связывается с качествами, размерами, отклонениями, «знаками», которые характеризуют его и делают «случаем».

Наконец, экзамен находится в центре процедур, образующих индивида как проявление и объект власти, как проявление и объект знания. Именно экзамен, комбинируя иерархический надзор и нормализующее наказание, обеспечивает важнейшие дисциплинарные функции распределения и классификации, максимальное выжимание сил и экономию времени, непрерывное генетическое накопление, оптимальную комбинацию способностей, а тем самым – формирование клеточной, органической, генетической и комбинированной индивидуальности. Благодаря экзамену «ритуализируются» те дисциплины, которые можно охарактеризовать одним словом: они суть модальность власти, учитывающей индивидуальные отличия.

* * *

Дисциплины отмечают момент, когда происходит оборот, так сказать, политической оси индивидуализации. В некоторых обществах (феодальный строй лишь одно из них) индивидуализация наиболее развита там, где отправляется власть государя, и в высших эшелонах власти. Чем больше у человека власти или привилегий, тем больше он выделяется как индивид в ритуалах, дискурсах и пластических представлениях. «Имя» и генеалогия, помещающие индивида в толщу родственных связей, деяния, которые показывают превосходство в силе и увековечиваются в литературных повествованиях, церемонии, самим своим устройством демонстрирующие отношения власти, памятники или дары, обеспечивающие жизнь после смерти, пышность и чрезмерность расходов, множественные пересекающиеся верноподданнические и сюзеренные связи – все это процедуры «восходящей» индивидуализации. В дисциплинарном режиме, напротив, индивидуализация является «нисходящей»: чем более анонимной и функциональной становится власть, тем больше индивидуализируются те, над кем она отправляется; она отправляется через надзор, а не церемонии; через наблюдение, а не мемориальные повествования; через основанные на «норме» сравнительные измерения, а не генеалогии, ведущиеся от предков; через «отклонения», а не подвиги. В системе дисциплины ребенок индивидуализируется больше, чем взрослый, больной – больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник – больше, чем нормальный и законопослушный. В каждом упомянутом случае все индивидуализирующие механизмы нашей цивилизации направлены именно на первого; если же надо индивидуализировать здорового, нормального и законопослушного взрослого, всегда спрашивают: много ли осталось в нем от ребенка, какое тайное безумие он несет в себе, какое серьезное преступление мечтал совершить. Все науки, формы анализа и

практики, имеющие в своем названии корень «психо», происходят из этого исторического переворачивания процедур индивидуализации. Момент перехода от историко-ритуальных механизмов формирования индивидуальности к научно-дисциплинарным механизмам, когда нормальное взяло верх над наследственным, а измерение – над статусом (заменив тем самым индивидуальность человека, которого помнят, индивидуальностью человека исчисляемого), момент, когда стали возможны науки о человеке, есть момент, когда были осуществлены новая технология власти и новая политическая анатомия тела. И если с начала средних веков по сей день «приключение» есть повествование об индивидуальности, переход от эпоса к роману, от благородного деяния к сокровенному своеобразие, от долгих скитаний к внутренним поискам детства, от битв к фантазиям, то это тоже вписывается в формирование дисциплинарного общества. Приключения нашего детства теперь находят выражение не в *le bon petit Henry*[365], а в невзгодах маленького Ганса; «Роман о Розе» пишет сегодня Мэри Барнс; вместо Ланцелота мы имеем президента Шребера[366].

Часто говорят, что модель общества, составными элементами которого являются индивиды, заимствована из абстрактных юридических форм договора и обмена. С этой точки зрения товарное общество представляется как договорное объединение отдельных юридических субъектов. Возможно, это так. Во всяком случае, политическая теория XVII–XVIII столетий, видимо, часто следует этой схеме. Но не надо забывать, что в ту же эпоху существовала техника конституирования индивидов как коррелятов власти и знания. Несомненно, индивид есть вымышленный атом «идеологического» представления об обществе; но он есть также реальность, созданная специфической технологией власти, которую я назвал «дисциплиной». Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «подавляет», «цензурует», «извлекает», «маскирует», «скрывает». На самом деле, власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно получить об индивиде, принадлежат к ее продукции.

Нет ли некоторого преувеличения в выведении такой власти из мелких хитростей дисциплины? Как могут они иметь столь масштабные последствия?

Версия #3

Зверобой создал 26 мая 2025 14:06:39

Зверобой обновил 2 июня 2025 14:07:51